



(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

Я ехал в поезде на охоту. Не то в Касимов, не то в Дмитров Жесткий вагон, но чистенький, и публика чистая, хотя деревенская. По радио передавали вальсы Шопена, кажется, в исполнении Вл. Софроницкого. Играл он изумительно, прекрасно. В вагоне довольно тихо разговаривали. Рядом со мной разговаривали о своих домашних делах две женщины. Одной из них явно мешала музыка, она что-то объясняла своей партнерше, а от музыки морщилась иногда и отмахивалась, как от чего-то назойливого, наконец, сказала громко:

— Да выключите вы это.  
— Вам не нравится? — спросил я.

Она внимательно посмотрела на меня, увидела, что я не смеюсь над ней, а просто немного удивлен, и ответила:

— Мы ведь этого не понимаем.

Но никогда я не встретил ни одного человека, который бы сказал, что он не понимает кино, театра. Здесь, наоборот, все все понимают.

10 ноября 1969 года. Прислала мне ответ на мое письмо Люся Кононенко. Очень умное, но очень грустное для меня: «Что это за каникулы вы себе устроили, нельзя же ждать, когда вы соизволите сыграть раз в 10 лет! Работайте, пожалуйста, а то я напишу протест министру культуры!»

Ох, если бы хоть кто-нибудь догадался всерьез написать такой протест! Ведь в других странах есть пресса, а ведь у нас-то этого нет! Могло бы со мной случиться то, что случилось здесь, если б я был не народный артист СССР, а просто известный и хороший актер во Франции, Швеции и т. д. Нет. Не могло бы.

## Борис БАБОЧКИН: «ТОЛЬКО ТЕАТР. ВОТ МОЯ ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»

31 декабря 1970. Опять ухитрился встречать Новый год больным, правда, в этот раз не в больнице, а дома. И начинаю итоговую запись уж в который раз с подозрением — не последнюю ли? Тем более, что уж, наверное, ничего хорошего, интересного не будет. Могло бы быть, конечно, по-другому, но при условии если бы я был не я. Или отказался бы от своих правил, своих принципов, ну точнее — от самого себя. Сейчас вот вернусь в театр. Даже репетирую, говорят, — интересно. Но нет непосредственного наслаждения искусством, слишком много знаю о людях, с которыми работаю, вижу — система их изуродовала. И ничего с этим сделать нельзя. Подумать только, что одна Фурцева лично, персонально отняла у меня пять, нет, шесть лет творческой жизни! Может быть, именно в эти шесть лет мне предназначено было сделать самое большое из всего, что вообще на мою долю было отпущено судьбой. Я не угодил ей, а именно она руководила всем искусством и, конечно, считала себя знатоком, тонким интеллигентным человеком, борцом «за партийность и реализм».

Мне кажется, что когда начинают ставить спектакль, фильм и т. д., то заранее как бы создается типовой проект этого будущего спектакля или фильма и если получается даже хорошо, но не по типовому проекту, то всем этим директорам, критикам, министрам не хочется расставаться со своими представлениями, не хочется сознаваться в скудости, серости своей фантазии, в отсутствии воображения.

Итак, подведем итоги года. Он не был богат событиями, но тем не менее творческой радости от диплома моих студентов мне хватало на весь год. А теще-славием я не болен. Я убежден в правильности, целесообразности своего метода, — метода реализма без предрассудков и без предубеждений. Но всякий счастливый момент неизбежно и немедленно поворачивается своей обратной стороной. Он уже и обернулся. Я убедился в этом, когда студенты верно, интересно, обаятельно, на определенно высоком уровне мастерства играли 2 акта «Фальшивой монеты», 2-й акт «Достигаева», «Свадьбу» Зоценко и «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса (в два вечера), то я видел свой театр. Или без пяти минут свой театр, особый, талантливый, своеобразный, который мог бы стать без особого труда в ряду с «Современником», например, в течение одного, много — двух лет. Но я же знал, что практика жизни, идиотизм системы разбросает всех их в разные стороны, они попадут в руки глупых некавалифицированных режиссеров и в результате, дай Бог, чтоб выбились в люди один-два человека. Остальные — массовка, в лучшем случае — эпизод. Так оно и идет, и ничего с этим я не сделаю ни сейчас и уже никогда.

А я мог бы быть создателем истинного театра. И думаю я не о том, как сорок три года назад приехал в Москву из Фрунзе и ходил голодный и мне негде было ночевать и уже «дела» на бирже заканчивались, и как я был счастлив, что получил предложение ехать в Тулу к Ростовцеву простаком и как почему-то это сорвалось и я опять не знал, что же мне делать, и как неожиданно встретил приятеля из театра МГСПС — Васюку Аристову, и он мне сказал: «Тебя ищет Гаркави, хочет познакомить с Давыдом Гутманом, он набирает труппу в Ленинградский театр «Сатиры». И как я увиделся с Гаркави, по-

том с Гутманом и уже через несколько дней сошел в туманное утро с поезда, вышел на Невский проспект и на извозчике поехал на 1-ю линию Васильевского острова к художнику Пете Осолодкову, он жил в комнате для домработницы при кухне. А через 8 лет я уже был народным артистом, в полном смысле первым актером Ленинграда. Казалось бы: какая ослепительная, волшебная карьера! Но я знаю, что я не сделал всего, что мог и должен был сделать. Я не создал свой театр. Я не был внутренне готов к подвигу, стоящему передо мной, а карьеристом я не был никогда.

12 января (1971 г.). Возобновляется «Правда — хорошо». И я должен отстаивать свою «Правду» — веселую, искрометную, легкую... Боже!

Попал в мясорубку. Или как в «Чайке»: Да, попали мы с вами в водоворот. Но это не водоворот. Водоворот все-таки что-то естественное, это природа. А мясорубка больше подходит, — бездушное, металлическое и тупое, с треском ломающихся костей. Во что превратились люди! Ведь я же помню, знаю других людей, другие мысли, другие чувства, другие мечты, другие отношения. Где это все? Ведь тогда не был человек человеку «друг, товарищ и брат». Ведь тогда не было лозунга «все для счастья человека», а просто меньше было подлецов, а потенциальные подлецы... еще стеснялись становиться принципиальными, открытыми, самоуверенно утверждающими свою подлость подлецами.

13 января 1971 г. Вчера после трехлетнего перерыва сыграл (с одной репетиции) «Правду — хорошо, а счастье лучше».

28 ноября 1971 года. Нахожусь под громадным впечатлением от «Ракового корпуса», прочитанного залпом. Вот в этом романе — все мои убеждения, все мои размышления, воспоминания, весь он — как бы мой, как бы мной написан. Какая радость узнавания и какая горечь, какой трагический осадок, какой страшный и вместе с тем какой человеческий добрый результат, какое влияние — поистине благо-

творное. Вот парадокс — литература идейная в самом высоком смысле слова, очищающая, воспитывающая, просветляющая, пробуждающая добрые чувства у нас под запретом. Она — нелегальна. А выдуманная, пустая, «составленная» умозрительно и, уж конечно, неискренно, и с корыстными расчетами, — выдается за истинную литературу «социалистического реализма». Сколько же мы забываем страшного, если оно прошло мимо нас, не задев прямо. И как стыдно за все то, чему вольно или невольное, в чем-то содействовал, пусть одним молчанием.

Самый стыдный поступок моей жизни, это когда после убийства Кирова в 24 часа из Ленинграда высылали «бывших» и тетя Катя Корчагина подошла ко мне: «Боря, надо что-то делать, хлопотать, — высылают Марию Александровну Потockую с племянником. Они оба служили в Александринке». А я ответил: «Нет. Я за них хлопотать не буду. И тебе, тетя Катя, не советую».

Хоть и знаю теперь, что никакие хлопоты не помогли бы, а стыдно до слез, что я мог так сказать, мог так думать...

И эта книга, написанная больным, отверженным и совершенно героическим человеком, заставила еще раз вспомнить и покраснеть и пожалеть о многом. Хорошо, что совесть моя давала мне твердость не делать зла, — плохо, что совесть не давала мне сил делать добро. Гнусный приспособленческий нейтралитет и полное удовлетворение от сознания своей «пригодности». Правда, я всегда ходил по краю, но что это меняет? Может быть, честнее было все-таки погибнуть, а не быть пособником всех кошмаров, всего ада, который нас окружал, да и теперь еще окружает. В более мягких дозах и формах. Прочитав книгу, сравниваешь людей...

Впечатление от книги еще усилилось, когда понял, к кому относятся стихи рязанского поэта Евгения Маркина «Белый бакен» в десятом номере «Нового мира». Какие чудные стихи! Какой молодец! Есть еще на земле честные, смелые люди!

А Исаичу еще будут стоять памятники на Руси, как великому писателю, великому учителю, великому человеку. Еще отрешает народ, страна. Неужели нет. Тогда и жить не нужно. Тогда это не страна, это — раковый корпус.

19 декабря 1971 г. Вчера умер Твардовский. Отлучился. Сегодня мне рассказал Любезнов, что в последние годы Твардовский был категорически (весь!) запрещен в концертах для армии. Его редакторская деятельность была прекращена и из «Нового мира» сделали Бог знает что.

Его «обсуждали», замалчивали, ругали и т. д. Перед самой смертью дали Государственную премию за книгу лирики. Интересно бы знать, что в нее вошло и что не вошло.

Бедный Александр Трифонович! Его будут хоронить как секретаря Союза писателей, а не как великого поэта и деятеля.

26 марта 1972 года. Вчера вечером получил неожиданное и громадное удовольствие — смотрел по телевизору творческий вечер М. М. Яншина.

Благодарю его за то, что он на полтора часа вернул мне мою артистическую юность — это время, когда даже пройти мимо дверей Художественного театра было событие, которое накладывало отпечаток какой-то особой радостной серьезности на весь твой день. Вот что был для нас тогда Художественный театр. И Яншин вчера предстал таким, из ТОГО Художественного театра. Он изумительно сыграл Градобоева, Кузовкина, но еще более интересно,

серьезно, скромно, достойно рассказал о своих первых шагах в Художественном театре, о Станиславском и Немировиче-Данченко. Он даже спел кусочек цыганской песни, без стеснения дряблым старческим голосом, но так наивно, доверчиво, серьезно.

В общем доставил много счастливых минут и горьких раздумий. А куда же все это делось теперь? Кто виноват в этом крахе, который постиг МХАТ теперь и из которого не выручит никакой Ефремов. Кто виноват? Ведь Станиславский и Немирович оставили театр талантливым и воспитанным в определенных принципах людям. Именно к ним принадлежит и Яншин и умерший два дня назад Кедров. Почему же они сами, своими руками растащили великий театр и предали наследство своих великих учителей? Очевидно, решающую роль сыграло то обстоятельство, что МХАТ стал правительственным официальным театром, казенным учреждением со всей присущей этим учреждениям мишурой: званиями, карьерами, подкалмством, подлостями и погоней за мелкими злободневными победами, а не за искусством. Оно осталось на задворках, в стороне. И вот здесь личные качества людей уже стали в судьбе театра решающими.

Как жалко, что я не записал в свое время (это было, вероятно, в начале 41 года) свой полтора-часовой разговор с Немировичем-Данченко. Но я все хорошо помню и еще запишу, обязательно. Интересный разговор. Если б не война, я уверен, разговор этот имел бы для меня решающее значение. Кстати поточ, в 1943 году, когда я возвращался из Ленинграда в Алма-Ату, я был во МХАТе на первом их спектакле «Три сестры» после возвращения из эвакуации. Играли они гениально. И там же в антракте Ахметели повел меня к Хмелеву, и они мне пред-

ложились остаться во МХАТе. А я сказал, что сейчас снимаюсь и потом когда-нибудь и т. п. А потом Хмелев умер, так это и заглохло.

А вчерашний яншинский вечер натолкнул меня на грустное размышление: ведь я совсем разочаровался в театре. Не в его искусстве, а в возможности его осуществления в наших условиях. Ведь действительно театр — это вся атмосфера внутри его, атмосфера подвижничества, аскетичность, бескомпромиссная. А у нас что?

2 декабря 1972 года. (...) 30 ноября в Большом Кремлевском дворце был пленум правлений творческих союзов по случаю 50-летия СССР. Мероприятие en grand, но все-таки — только мероприятие.

Казенщина развешает все души. На этот раз она особенно высветилась. Появился президиум. Кое-кто из членов Политбюро. Казенные минимальные аплодисменты. Нехотя встали, постояли, еле-еле поклонились. Не слушали выступавших совершенно демонстративно. Разговаривали довольно громко между собой. Овацию устроили одному Шостаковичу, отчасти потому, что признают в нем единственного классика, бесспорного, а отчасти потому, что он уже «там». Он еле двигается, на нем уже печать, и скоро, скоро его не будет.

Остальных, вне зависимости от званий, чинов и вне зависимости от того, что они говорят, — не слушают, не хотят слушать. Да и что они могут сказать? Ну как отнестись к выступлению Г. Маркова — секретаря Союза писателей, когда, я уверен (почти), никто в зале не читал ни одного его сочинения? Как отнестись к выступлению Михалкова?

Грустная картина. Открывал пленум Н. С. Тихонов. Я вспомнил: в 1934 году мы с ним вместе были в этом же зале на Съезде советов делегатами. Я тогда же понял всю опасность этого пути. Я и сошел с него немедленно и сознательно. А он с тех пор и дует до горы. Последние лет тридцать он — председатель Комитета по государственным премиям.

28 ноября 1974 года. Санаторий «Подмосковье». Столько событий, дел, размышлений за это время. Хоть что-нибудь пусть из всего этого не забудется.

Итак, первое — прошла «Гроза». Могу сказать, что все, что задумал, получилось. Очень хорошо играют почти все актеры. Милочка Щербинина играет так, как я не ожидал от нее. И ни одного вскрика, никакой истерики. Отлично играют Хорькова, Еремеев, Софронов, Клюев и... я. Мне пришлось играть Кулигина почти без репетиций.

Жаль только, что я спектакля еще не видел — сам играю. Есть, конечно, часть публики, которой почему-то жалко расстаться со старой трактовкой штампованной, традиционной «Грозы». Это примерно сказала мне Г. С. Уланова. Но я уверен, что старую «Грозу» она просто недосмотрела бы. Удивительная вещь — вкусы публики!

Прошел юбилей театра. Прошел хорошо. Отложила его Фурцева на 10 дней и в эту ночь умерла. Вероятно, была у нее по поводу юбилея огорчения, — не на том уровне проводила. Я от нее дважды умирал. В театре Пушкина она меня убивала и добивала. С чисто бабьей непонятной жестокостью. Да и в Малом, конечно, она поддавалась на уговоры. И все-таки нет у меня на нее сердца. Была она способным человеком.

Публикация Натальи Бабочкиной.

Экран и сцена —